

## ВУГАР ЭМРАХ РАССКАЗЫ

Перевод Ниджата МАМЕДОВА

### Гости из Москвы

Было раннее утро. Дулу киши, нацепив по обыкновению свои очки, напоминающие увеличительное стекло, сидел на деревянной скамье у ворот. Ему было больше восьмидесяти. Он казался задумчивым. Многофункциональной кизиловой палкой в руке он рисовал на земле неизвестные себе геометрические фигуры. Сегодня должны были приехать из Москвы его сыновья. «Будь проклят мир. Дети страдают. Ради куска хлеба им приходится скитаться по чужбине. Я не смог стать им хорошим отцом, – Дулу поставил жирный восклицательный знак в конце нарисованной фигуры. – Были б здесь, помогли бы с хозяйством. Уже надоело возиться со скотом. Забот-то у животных никаких. В Москву ведь они не отправляются. Пойду накормлю их, пока не припекло. А к тому времени и дети приедут...»

У Дулу поднялось настроение. Сев на облучок телеги, он весело напевал: *«Довги вдоволь, яймы немерено...»*

Недалеко от садов с тутовником пронырливый соседский сын на лошади промчался мимо Дулу и остановился перед телегой:

– Дядя Дулу, дядя Дулу! Сыновья твои приехали, у въезда в деревню. Сидят с друзьями. Они сказали: «Пусть отец не ждет нас, придем поздно...». – Бедный ребенок, хоть и проныра, ждал магарыча.

Прежнее настроение улетучилось вместе с этими словами. Дулу ушел в думы: «Чего только не пришлось пережить? Я продвигался от слесаря до агента НКВД. Такого не видал никогда. Что за странный «эгоизм» проявился в этой деревне? Люди никогда не забывают своего родного очага. Где бы они ни жили, обязательно возвращаются. А возвращаются в ином обличье, – он сердито ударил кизиловой палкой оземь, будто остался недоволен их возвращением на родину. – Возвращаются, но опошляют всю тоску ожидания. Одни возводят на месте родного очага «египетскую пирамиду», другие строят забор высотой в десять метров, третьи украшают весь двор плиткой, а некоторые строят гараж на пять или шесть машин. Все это считается «рвением», – он уставился на десятиметровый забор своего соседа, проявляющего «рвение». – Это «рвение» достигается через приключения в далеких, чужих городах. Вооруженное ложью, обманом, проклятиями, оскорблениями, нарушением запретов, это «рвение» расправляет крылья и возвращается на родину. Последствия «рвения» в далеких чужбинных городах разрушают ни о чем не ведающие бедные семьи на родине, превращают родственников во врагов и разоряют друзей. Как ни в чем не бывало... Ничего страшного, лишь бы высился десятиметровый забор, лишь бы в каждом дворе возвышалась «египетская пирамида», лишь бы из каждого гаража выезжал джип для поездки в гости, нива для поездки на работу и мерседес про запас! А как же? Все всё видят... Таким образом, жители села превращают свою частную жизнь в собственность села. Жертвуют душой и свободами ради заборов и зданий, которые считают своими. Эхх! Только ты сохранило здесь чистоту», – Дулу киши обратил свой взгляд на озеро Аджинохур, не перестающее улыбаться серебряной улыбкой.

Дулу, весь печальный, косил траву. А в сельской столовой один из друзей поднимал тост за здоровье Дулу:

– Рауф, Руфат, давайте выпьем эту рюмку за здоровье дяди Дулу! Дай Бог ему жизни! Настоящему мужчине, смельчаку! Ей-богу, я восхищаюсь рвением этого человека. Хотел бы я иметь хотя бы одну десятую его рвения, – коснулся он большим пальцем указательного. – Клянусь, горы бы сворачивал! Проявлять такое усердие в восемьдесят лет? Что еще добавить? Я мог бы говорить об этом человеке часами, – на самом деле, ему, как любящим описания прозаикам, нечего было сказать, но «волшебная водка» делала свое дело, – всё и без слов видно. Выпьем! Пусть дядя Дулу будет здоров и живет еще сто лет!!!

Звякнули рюмки. После каждого звяканья сыновья Дулу распались пуще прежнего. После каждого звяканья сентиментальность облачалась в свое аляповатое платье и танцевала у них на глазах. После пол-литра обнажились чувства и переросли в твердую решимость: «Встанем завтра спозаранку и поможем отцу! И не просто поможем, а не дадим даже былинку поднять!» После застолья, свернувшегося в три часа ночи, они на цыпочках пробрались в свой бедняцкий дом и легли спать. Перед тем, как лечь, они решительно прошептали матери на ухо:

– Непременно разбуди нас утром в пять!

Рано утром сидящие в тележке сыновья Дулу, качая ноющими от похмелья головами под шедевральному музыку железных колес, направились в сторону тутовых садов. Дулу охватили странные чувства: «Когда они успели вырасти и обзавестись семьями? Быть бесплодным плохо. Да, дело хлопотное, но с детьми всё-таки лучше», – похоже на лупу очки Дулу, казалось, показывали его сердце и душу. В иное время он думал и думал, но не мог вспомнить, как выросли его дети. А теперь каждая мелочь мелькала перед глазами, как кинолента. «Я был занят друзьями и гостями, не смог заняться детьми, они росли сами по себе. Да и особо не беспокоили. Не болели чем-то серьезным, не вляпались во что-то затратное. Они даже мухи не обидели. Оказались честными, воспитанными».

Наконец они доехали до тутовника. Половина травы была скошена. Дулу киши взял косу, точильный камень и немедленно принялся за работу. А его сыновья взяли дюжину бутылок пива и сели в тени старого дуба на краю поля.

– Рауф, открой пивка, опохмелимся и приступим, – сказал Руфат, под чьими глазами висели мешки.

– Да, неплохо бы. Эту отраву пьешь с кайфом, а наутро жить не хочется.

Первая бутылка не дала эффекта.

– Класс! Давай еще по одной, – Руфат начал подавать признаки жизни, – я еще не срыгнул, значит, надо еще.

– Охх! Нет, пивом не отделаться. Клин клином вышибают. Перед батей стыдно, не то... – Рауф воровато посмотрел на отца. Тот весь ушел в работу. Он косил траву, а когда уставал, переворачивал скошенные охапки. Вот так Дулу косил траву, а его сыновья боролись с похмельем. Одна бутылка пива – Дулу подумал, что дети приехали из Москвы в гости. Вторая бутылка – Дулу подумал, что они легли спать поздно ночью. Третья бутылка – Дулу подумал, что похмелье – штука мерзкая. Четвертая – Дулу киши чихнул. Пятая – Дулу киши кашлянул. Нет!!! Всё впустую. Сыновья не вставали. Солнце уже садилось. Дулу киши, подавив гнев, собрал скошенную траву в телегу. Наконец не сдержался:

– Поехали, салаги! Садитесь!

Сыновья, покачиваясь, сели в телегу. Всегда послушный осел на сей раз заупрямился. Как ни старался Дулу, осел не сделал и шага.

– Тпру, тпру! – Дулу киши, рассерженный «рвением» своих сыновей, прошелся кизиловой палкой по спине осла.

Они возвращались из тутовника. Дулу, глядя на свою тень, тени сыновей, которые постепенно становились в несколько раз больше их самих, ужасался. Обычно так случалось на закате. Но этот закат отличался от привычных закатов...

Через два дня утром в ворота постучали. Дулу растерялся, увидев на пороге известного на всё село мастера – строителя. Он обратил на него вопросительный взгляд.

– Твои сыновья за всё заплатили, дядя Дулу. Сказали, едем в Москву, а когда вернемся, пусть вместо ограды будет белокаменный забор.

Дулу киши возвёл очи горе: «Боже милостивый, только бы они не указали его высоту»...

## **Дежавю**

*Трагедия памяти одного поколения...*

Их так и называли – мотоцикл. А точнее – трехколесный мотоцикл. Парень всегда шел впереди. Мать и дочь позади, бок о бок. Типичные русские – рослые, светловолосые, голубоглазые, слегка курносые. Не поймешь, чем занимались. Куда их звали, туда они и ходили, делали все, что им поручали. Взамен довольствовались «объедками» – немного денег, еды, старой одежды и того-этого, о чем мне невдомек...

Говорят, многоточие означает остановку мысли. Вовсе нет! Да и эта история сложилась потому, что я заинтересовался продолжением. Рассказ или новелла. Называйте, как хотите, согласен.

Причина, по которой я заинтересовался ими, заключалась в их странной робости. Как будто они чего-то боялись. Когда они шли по улицам, выглядели напуганными, постоянно озирались по сторонам, это и привлекало чужое внимание. Мать шла с дочерью под руку, будто боялась, что та сбежит или ее выкрадут. Парень шел впереди, с разинутым ртом, с поднятой головой и глядя по сторонам, как ленивец. Казалось, он бросает вызов окружающим – не подходите к моей матери и сестре! Чем может вас заинтересовать такой человек? Я нашел оправдание. Талия матери была кривой. «Деформирующий остеоартроз» можно было разглядеть издалека. Кое-как я отправил им весточку, что у меня нет никаких корыстных целей, просто жаль их, пусть зайдут, обследую. На следующий же день зашли – мать и дочь. Тот же страх, тот же робкий взгляд... Они даже не присели. Я не мог подобрать нужных слов, потому что мне стало более неловко, чем им. Я получил их адрес, они ушли.

В воскресенье решил зайти к ним. Я не мог пойти с пустыми руками, потому что знал об их трудностях. Купил большой мешок картошки, столько же гречки, маленькую кадку масла (помню, потому что они были большие) и другие мелочи.

Театр начинается с гардероба, а нищета – с порога.

Однако слово «бедность» не способно было охватить то, что я здесь увидел. Было очевидно, что однокомнатную квартиру ремонтировали не менее пятидесяти лет назад. Бледные цвета стен и пола не соответствовали ни одному из оттенков спектра. Вместо занавески окно закрывала пленка, которая не снималась даже летом и уродливо искажала свет снаружи. Краска на потолке вздулась, рассыпалась и свисала, как сталактиты. Две пружинные кровати, на которых лежали прохудившиеся одеяло с матрасом, а на них всякие лохмотья, древний шкаф в углу, стол с ножками из разных материалов и единственная низкая табуретка рядом с ним. Она была настолько низкой, что подбородок еле дотягивался до края стола. Чтобы усидеть на этой бедовой табуретке, непременно приходилось упираться в пол одной пяткой. Из этого и состояла вся мебель в квартире. Стол покрывала прозрачная пленка. Под ней бросалась в глаза пожелтевшая газета «Коммунист» от восемьдесят девятого года. На первой полосе газеты красовалось насупленное лицо какого-то генерала. Пожалуй, единственной чистой вещью в доме была эта пленка, а пожелтевшая газета – единственной вещью нормального цвета.

На столе лежало неизвестно когда приготовленное картофельное пюре, а рядом с тарелкой – давно немытая «дежурная» ложка. Нет, это не было беспорядком. Беспорядком называется хаотичное расположение чистых вещей. Здесь все было грязно. Правильнее было бы назвать это неряшливостью. Кажется, мое изумленное оглядывание по сторонам заметила и Марина, высокая женщина с потемневшей от хождения под солнцем кожей.

– Видите, да, доктор Селим, какое у нас трудное положение, – слова Марины вернули меня в реальность. – Никто нам не помогает, – она обратилась ко мне, но продолжала смотреть на поседевшую сгорбленную мать, сидевшую на краю кровати.

– А как обратиться к ней? – я пытался выиграть время, чтобы собраться с мыслями. Цель моего визита оставалась не понятна и мне самому.

– Люся. Люся Ивановна... Василевская, – медленно выговорила Марина, будто с трудом вспоминая фамилию матери.

«Василевская, Василевская, Васильевна», – пробормотал я. Что-то знакомое. Я содрогнулся от нездешнего, устремленного в бесконечность взгляда ее матери.

– А где ваш отец? – меня охватило любопытство. Как будто я все это уже однажды пережил.

– Он давно умер. Я его с трудом помню, – неохотно ответила Марина. В этом ответе тоже сквозили странная робость, страх...

– А как его звали?

Я задал вопрос, но в мыслях вернулся в 93-й год. Карабахская война была в самом разгаре. Передо мной возник образ армянина Шалико. Шалико, ни фамилии, ни отчества которого я не знал. Семидесятилетний Шалико, которого доставили в операционную на носилках в сопровождении жены-азербайджанки и детей смешанных кровей, Шалико с тревогой на лице и глазами, в которых, как и у Марины, сквозили странная робость и страх...

– Иван. Иван Иванович.

В ходе операции выяснилось, что Шалико не обрезался. Медсестра, потерявшая сына в карабахской войне, фальшиво стенала: «Этот сукин сын еще не обрезан». Чтобы избежать пересудов, жена Шалико, услышавшая в коридоре эти слова, настояла на том, чтоб ее мужа обрезали. Хирурги полушутя-полусерьез сделали обрезание семидесятилетнему мужчине. В тот день мою художественную душу будто разбил паралич. На следующий день Шалико умер ...

– А вы родом откуда, если не секрет? – я не мог побороть своего интереса.

Взгляд Марины был прикован к мешку с гречкой, который я принес. Как будто боясь, что я заберу его обратно, она покорно ответила:

– Моя мама здесь родилась и ее мать тоже. А отец откуда-то из Грузии, там где-то есть портовый город... Маленький город! Не помню!

– Интересно! – отчего-то мне это показалось романтичным. – А мама знает?

– Неет! Она не знает! – сразу перебила Марина. – Она не помнит! Она... Она вообще глухая! – кажется, расспросы утомили Марину. Мать посмотрела на дочь и кивнула, будто понимала, о чем идет речь.

– А у вас сохранилась какая-то семейная фотография? – желание увидеть незнакомого Ивана Ивановича было непреодолимым.

– Нет, не сохранилась! Только его фотография, – указала она кивком головы на старый шкаф в углу, – мама не разрешает трогать.

Я посмотрел в направлении, указанном Мариной. Это был портрет ее отца – Ивана Ивановича. Меня как будто молния сразила. Похоже, Архимед кричал свое «Эврика!» в схожем эмоциональном состоянии. Я словно увидел зеркальное отражение насупленного генерала с первой полосы пожелтевшей газеты «Коммунист», единственной сохранившей цвет вещи под единственной чистой вещью в квартире – пленкой.

– А как его фамилия?

– Власов. Иван Иванович Власов, – тихим голосом, словно сдаваясь, сказала Марина, безвольно роняя руки.

В газете была опубликована статья, реабилитирующая генерала Власова... Я почувствовал себя следователем, в годы репрессий получающим объяснительные от людей с фамилией Власов: «Я не имею никаких родственных связей с изменником генералом Власовым...»

## **Деменция**

*С возрастом воспоминания становятся ближе, чем родные дети...*

Селим опоздал на пять минут. Он собирался зайти через заднюю дверь и не приметно сесть с края. Подойдя к двери, он услышал, что собрание проходит шумно. Раздавался голос спикера: «Они освободили Молдавию, они штурмовали Берлин». Это был старший фельдшер больницы дядя Гюлю. Этот голос невозможно было не узнать. Атрибут речи дяди Гюлю – клацанье зубных протезов, подвергающихся рокировке во время разговора.

Он взял себя в руки. Необходимость проскочить незаметно отпала. Всё равно царил «бардак». Он шумно распахнул дверь и вошел. Находившиеся в зале сидели спиной к Селиму. Дядя Гюлю, выступавший на трибуне, приметив Селима, тут же наставил на него палец:

– Спросите его, раз не верите! Моя книга есть в его библиотеке.

Все повернулись и посмотрели на Селима. Селим, уже в сотый раз слышащий эти слова, подтвердил их кивком. Имя дяди Гюлю оказалось случайно упомянуто в книге какого-то русского автора о войне. Ободренный подтверждением, дядя Гюлю пламенно продолжил свою речь:

– В семнадцать лет я уехал из деревни на войну и вернулся из Берлина в сорок седьмом, – продолжали клацать протезы. «Бог знает, в каком году он пошел на войну...», – наверное, большинство присутствующих в зале пытались решить это уравнение, как Селим.

«Интересно, знает ли дядя Гюлю итальянский?» – подумалось замечавшемуся Селиму.

Когда-то Селим посетил Сан-Ремо в качестве туриста. На самом деле он не очень любил путешествия. Однако, услышав о Сан-Ремо, с радостью решил поехать. Его молодой настрой был проникнут духом музыкальных фестивалей, проводимых в этом городе. На него произвел впечатление небольшой инцидент, произошедший здесь. Они гуляли по главной улице аккуратного и красивого города. Старый местный итальянец припарковал свой маленький автомобиль на обочине улицы. Два молодых человека, шутники, работавшие в соседнем магазине, подняли в один присест похожую на игрушку машину пенсионера и прижали ее к фонарному столбу таким образом, чтобы дверь со стороны водителя не открывалась. Селим вместе с участниками группы с интересом наблюдал за происходящим с расстояния пятидесяти метров.

Старик-итальянец начал громко возмущаться. Даже не знаящим итальянский было ясно, что он жалуется на молодежь. Тем не менее, по его мягко звучащей быстрой речи чувствовалось, что он не очень-то и зол. Подойдя к машине, Селим дал знак паре мужчин из группы. Они так же в один присест взяли автомобиль и поставили обратно.

Молодые итальянцы молчали. А старик заговорил громче и быстрее. Было совершенно ясно, что тот разозлился. Селим и его друзья, услышавшие вместо благодарности упреки (а, может, и ругань), ничего не ответили старику. Даже гид никак не отреагировал. Селим понял свою ошибку. Им не следовало трогать машину.

Может, старику это и было нужно. Возможно, старик сознательно каждый день оставлял там свою машину. Может, это событие повторялось изо дня в день. Тогда старик напомнил Селиму маркесовского полковника, которому никто не пишет письма. Наверное, старик, ни от кого не получая писем, решил писать самому себе... Даже спустя много лет Селим вспоминал этого старика. Наверное, он сейчас не начинает свой разговор с жалоб на молодых людей. Он уже говорит о том, как туристы суют нос в дела итальянцев, как те мусорят его прекрасный город...

– Я справился с целой кучей немцев, а здесь не справляюсь с пятью-шестью санитарками, превратили больницу в помойку! – продолжил клацающую речь спикер.

– Ближе к делу, – поторопил дядю Гюлю главврач, начавший терять терпение.

– А я разве не о деле говорю? Приближается День Победы. Всё должно быть чистенько и аккуратно...

Селим задумался о ежегодном застолье в честь дяди Гюлю. Фактически ежегодно по случаю Дня Победы в больнице проводилось мероприятие в честь ветеранов, раздавались подарки, а затем устраивался банкет для нескольких из них, кто еще не впал в детство. В последние годы все они умерли или вышли на пенсию. Остался только дядя Гюлю. Мероприятие теперь было символическим, проводилось наспех, ему дарили подарок и быстренько расходились. Обходились без банкета, оправдываясь тем, что, мол, дядя Гюлю стар, выпьет лишнего и угодит в неприязность. Однако Селим и пара коллег не забывали о застолье для дяди Гюлю. И тогда дядя Гюлю представлял в иной красе, с орденами на груди, в бордовом пиджаке. Тогда протезы не клацали. Тогда протезы двигались по столу, как сороконожки. То забирались в стакан с водой, то выглядывали из тарелки. И все смотрели на эти протезы, как на домашнюю кошку, путающуюся под ногами. И даже когда они падали на пол, официант промывал их и с улыбкой клал на край стола. А дяде Гюлю было нипочем. Он с энтузиазмом рассказывал о местах, где никогда не был, о людях, которых никогда не встречал, и только когда поднимали тост за его здоровье, скромно хранил молчание, заглядывая лукавыми блестящими глазами в рот Селима и коллег. А в конце дядя Гюлю всегда говорил по-немецки и сам же переводил. Когда его сажали в машину и везли домой, он не садился, не сказав «Auf Wieder sehen».

– Ради кого мы сражались? Ради вас! Я уже совсем стар! Мы должны уважать себя! Мне не нужно ничье уважение. Есть один-два человека, мне хватает. Спасибо. Я все записал, оставил.

«Интересно, что он написал?» – думали все. А Селим знал. Убедившись, что сзади никто не увидит, он поднимал большой палец и показывал «отлично». Дядя Гюлю смеялся. А собравшиеся нервно ерзали. Сразу после окончания пятиминутки дядя Гюлю находил Селима:

– Ну, как я сказал?

И Селим снова поднимал большой палец. Поднимал и знал, что дядя Гюлю ничего не написал. И что ему тоже никто ничего не пишет...

Однажды умер сын дяди Гюлю, полковник, работавший начальником в каком-то районе. На траурную церемонию Селим отправился со своими коллегами. Во дворе дома в самой высокой части города натянули палатку. Пришло много людей. Большинство из них – чиновники, должностные лица. До погребения покойного оставалось еще больше часа. Люди собирались группами по три-пять человек и разговаривали. Естественно, разговор шел о покойном. Говорили, что он окончил институт в одном из российских городов и работал там же. «Ему не следовало оставаться там. Родина, мать – это первое, что ты чувствуешь. Запах, который мы не осознаем, – это тот самый запах, которым пропиталась наша эктодерма в материнской утробе. Если пытаешься изменить этот запах, он становится банальным, опошляется. Новая родина – то же самое, что новая мать», – каждое услышанное слово окрыляло Селима. Будь это в его силах, он и покойному дал бы их услышать.

Потом говорили, что, когда развалился Советский Союз, он вернулся с желанием служить своей стране, но по какой-то причине не поладил с местной полицейской системой. И снова вернулся в Россию. «И именно тогда совершил свой главный просчет. Если уж покинул Родину, возвращаться нельзя. Создаешь на чужбине виртуальный образ родины и наслаждаешься им. Но если уж вернулся, то Родина у тебя уже не «первая». Нет никакой разницы в химической формуле тестостерона у двадцатилетнего и пятидесятилетнего. Но почему новая любовь не столь сладка, как первая, почему последующие дети не столь важны, как первенец? Да-а... Если мы хотим, чтобы всё «первое» осталось в памяти навеки, мы не должны его повторять! Мы должны любить один раз и все виды ошибок совершать лишь единожды»...

Дядя Гюлю сидел рядом с муллой во главе большой палатки, натянутой во дворе. Над его головой висела большая фотография покойного. Дядя Гюлю, держа в руке какую-то маленькую фотографию, клацая протезами, что-то говорил мулле. Мулла был растерян и беспомощен. Он не знал, что делать, обратиться к присутствующим и прочитать «Фатиху» или продолжать слушать дядю Гюлю.

Увидев Селима дядя Гюлю сразу же воспрянул. На его лице не осталось никаких признаков траура. Он жестом указал ему сесть рядом.

– Вот этот снимок я сделал в тот год, когда пошел на войну. – Дядя Гюлю снова взял муллу в оборот. – Мне тогда было семнадцать. А это, рядом со мной, мой генерал.

На фото мужчина лет пятидесяти в генеральской форме рядом с автомобилем «Виллис» что-то говорил сидящему за рулем водителю с хитрыми глазами. За генералом стоял хилый парень. На обратной стороне этого случайного снимка была написана дата – «1945-й год».

«Ах, ты прохиндей... Значит, ты пошел на войну в сорок пятом и вернулся в сорок седьмом? Значит, ты видел «немцев» только на рынке и в магазинах...», – Селим успокоился, так как нашел решение неизвестного, на которое искал ответ много лет с тех пор, как знал дядю Гюлю. Он изумленно посмотрел на дядю Гюлю. Посмотрел и совершенно ясно понял, что вот прямо сейчас дядя Гюлю наставит на него палец и примется клацать протезами:

– Если не верите, спросите у него! Моя книга есть в его библиотеке – «Они освободили Молдавию, они штурмовали Берлин»...

## ***Невроз или перенос***

*Любовь, ставшая образом жизни, – это невроз*

Хамелеон шел тяжелой поступью, раскачиваясь. Как авторитетные мужчины, у которых кружится голова. Освещаемая солнцем сторона его тела была белой, а другая – черной. Он внезапно остановился. Уставился одним яйцевидным глазом на Ахмеда, а другим на Гулендам. Затем открыл свой рот с жемчужными зубами и словно бы попытался плюнуть на них. Но почему-то заколебался. «Плюнуть или нет?» – Ахмед насторожился, будто услышал вопрос хамелеона, заданный самому себе. Затем встал в стойку первоклассника, ожидающего приказа учительницы, и стал ждать. Его учительница, шевеля накрашенными губами, уставилась и вторым глазом на Ахмеда, а затем раскрыла рот. Ее длинный язык с шарообразным кончиком резко выскользнул из укрытия и шлепнулся о лицо Ахмеда – Шшаррапп!

Он испуганно проснулся. Невольно протянул руку к лицу, пытаясь оторвать прилипший язык. «Спидометр» тахипноэ (*учащенное поверхностное дыхание – Ред.*) зашкаливал:

– Вот бессовестный, всё не приезжает, чтобы отвести меня к врачу, – Ахмед киши, сплетя пальцы, зашагал из угла в угол по своей двухкомнатной квартире на

четвертом этаже, – Господи, сколько же снов я вижу? Мое сердце вот-вот лопнет, – и, стараясь не обращать внимания на свое колотящееся сердце, он принялся нажимать кнопки неработающего телевизора.

Прошел год со дня смерти его жены Гулендам. Ахмед киши прикипел к допотопному черно-белому телевизору. Без Гулендам квартира для Ахмеда превратилась в черно-белый мир. Ахмед не мог заснуть без включенного телевизора. Часто изображение на экране пропадало, а на его месте появлялись черно-белые полосы, сопровождающиеся неприятным шумом. Тогда Ахмеду киши приходилось прерывать свой сладкий сон и «вразумлять» телевизор, даже если это занимало целый час. Иначе Ахмед не смог бы никак заснуть.

Как и Гулендам, телевизор давно хотел отойти в мир иной. Но Ахмед не мог этого допустить. Каждый раз он брал телевизор на руки, пытаясь спускаться с четвертого этажа, брал такси и возил к мастеру, работавшему неподалеку. Отремонтированный телевизор работал от силы пять дней. Затем у него опять начинались «припадки». И Ахмед киши снова радостно бежал к мастеру. У него это уже вошло в привычку, и как только открывалась мастерская, он бежал туда. Поначалу беседовали они только о телевизоре:

– Дядя Ахмед, ради Бога, пошли к черту этот телевизор! Ай, киши, допотопный он у тебя. Ему уже сорок лет, пора на свалку. И ты перестанешь мучиться, и меня перестанешь мучить, – в искренности мастера сомневаться не приходилось.

– Что поделать, мастер, я к нему так привык, это приданое моей жены, рука не поднимается выбросить, – Ахмед, который в такие минуты принимал понурый вид, знал, что мастер прав.

С Гулендам они прожили вместе сорок лет. Когда они женились, тесть дал хорошее приданое. Большая часть того, что он дал, при переезде на новую квартиру оказалась бесполезна. Пригодились лишь пара мелочей и тот самый телевизор. Пока была жива Гулендам, Ахмед даже не вспоминал о телевизоре. Ахмед, занятый делами с утра до вечера, вернувшись вечером домой, старался все свободное время проводить с женой. Как говорится: «Куда иголка, туда и нитка». Если бы ему не было стыдно, он бы держал Гулендам при себе, даже сидя на унитазе...

Теперь прошел год со смерти Гулендам. За этот год телевизор, ее заменяющий, работал бесперебойно. Не выдержавший такой нагрузки телевизор наконец умер на руках Ахмеда. Как бы он ни просил, мастер и близко к телевизору не подошел. Бедный Ахмед! Ни Гулендам, ни телевизора! Ахмед киши обрек себя на одиночное заключение. Ему казалось, что, если он ступит за порог, сердце остановится. Вся надежда была на зятя...

Единственная дочь Ахмеда киши давно была выдана замуж. Он позвонил зятю и ждал его приезда. По собственным словам, Ахмед любил его так же сильно, как собственного сына. А зять всё не появлялся...

– Он всё-таки не кровный родственник, не станет сочувствовать, как родной ребенок, – Ахмед цеплялся за домыслы, как утопающий за соломинку, – сытый голодного не разумеет! Какая ему разница, страдаю я или нет. Ах-х, Гулендам, Гулендам!

Наконец, зять, которому жена закатывала скандалы, взял десятидневный отпуск на работе и приехал к Ахмеду. Ахмед радовался донельзя. Он нашел сотоварища. Не вспоминал ни Гулендам, ни телевизор. Ни на минуту не отпускал от себя зятя. Через неделю зять, как и телевизор Гулендам, пришел в неисправное состояние и пошел «черно-белыми полосами». «Нет, я так сойду с ума, я должен что-то предпринять до конца отпуска, – бесповоротно решил измучившийся зять. – Лучше сначала поговорить с доктором наедине».

На приеме врача зять был взволнован. Врач с почти сорокалетним стажем сразу почувствовал, что этот визит не из обычных. Потому что увидел «корысть», сидевшую на шее пациента и свесившую ноги, как хомут.



– Док, помогите мне, пропадаю! – зять умолял доктора избавить его от хомута.

– Говори медленно, с расстановкой, чтобы я понял, – доктор будто обращался не к пациенту, а к «корысти».

– Доктор, у моего тестя едет крыша, – зять принял жалкий вид, но скрыть своего хитрого взгляда не мог.

– А мастеру показывали? – опыт заранее прошептал доктору, чем закончится разговор.

– Кого? Тестя? – растерянный зять не понял вопроса.

– Нет, его голову! – равнодушно уточнил вопрос врач, взясь с рецептурным бланком перед собой.

«Кажется, и у него едет крыша. Если смогу их свести, конец моим мучениям».

– Зять не стал озвучивать молниеносно пронесшуюся в голове мысль.

– Показывали, док, но безрезультатно! Вся надежда на вас.

«Только больной выдаст дочь за такого, как ты», – подумал доктор, глядя в хитрые глаза зятя.

– Ладно, чем этот бедолага сейчас занят?

– Док, он не отпускает меня от себя с утра до вечера. Говорит, если уедешь, сердце мое не выдержит. У меня тоже есть дела, я должен вернуться в Баку!

– Дааа, – зять не мог решить, каково заключение врача, потому что тот многозначительно растягивал гласные. – Хорошо! Приведи его, посмотрим, чем сможем помочь, – в конце врач не забыл колынуть зятя, – пока не торопись покупать билет!

Зять будто ошпарили кипятком: «Чтоб вам всем провалиться...». Сбилась ритм сердца, но язык свой он попридержал.

– Ладно, док, завтра приведу.

На следующее утро Ахмед киши, высокий человек благородной внешности и с робким выражением лица, поздоровался с присущей асакалам вежливостью и вошел. Он представился:

– Меня зовут Ахмед. Мой зять говорил с вами вчера.

– Даа! Ахмед киши, присаживайся! – «Интересно, что у него там с головой?» мог бы подумать доктор по наущению дьявола, но вопреки тому пришел к иному выводу: «Совсем не похож на больного человека!»

– Доктор! Это правда, что пол будущего ребенка зависит только от мужчины? – врач, не ожидавший такого вопроса, призадумался. Перед его глазами возник образ зятя-прохиндея.

– Конечно! – ответил доктор после паузы. – В любом случае лучше жаловаться на сына, чем гордиться зятем. – Врач увидел, что камень в огород Ахмеда угодил в цель.

– Ахх! «Я родила то, что ты посеял!» Вот как отвечала покойная жена, когда я упрекал ее за то, что та не родила сына, – удрученно сказал Ахмед киши.

– Что было, то было, переходи к делу!

– Доктор, я не могу оставаться дома один, мое сердце готово разорваться. Обязательно кто-то должен быть рядом. А среди людей мне становится не продохнуть, кажется, что небо готово на меня рухнуть. Не могу усидеть на одном месте. То задыхаюсь, то немеют руки, то мурашки по голове. Не пойму, что за беда. Вылечи меня!

– Даа! Это называется неврозом, дядя Ахмед! Его величество невроз!

– Доктор, ей-богу, я не нервничаю. Никто меня не задевает, все уважают, – Ахмед недоверчиво посмотрел на доктора.

– Невроз, дядя Ахмед, не означает нервного человека! Невроз – это дьявол внутри тебя. Невроз – это несбывшиеся мечты. Невроз – это мучения в той среде, куда ты попал, но адаптироваться не можешь, – увидев, что пациент внимательно его слушает, доктор продолжил «урок». – Невроз – это характер, деформированный бессмысленными принципами. Невроз – это взгляд на события под неправильным углом.

Было ясно, что Ахмед не до конца понимал, о чем говорил доктор, но тот продолжил свой монолог. Он говорил это еще и потому, чтобы насыпать соли на его раны.

– Невроз – это одиночество, даже если вокруг тысячи людей, пятнадцать зятей.

– Охх! Прямо в точку! – тут Ахмед киши не выдержал и хлопнул ладонями по коленям.

– Отпусти его бедного, пусть возвращается, захочешь что-нибудь сказать, приходи ко мне!

После долгого разговора доктору удалось убедить Ахмеда. Зять, избежав инфаркта, вернулся в свой Баку – город, где даже деревья не отбрасывают тени.

Первый визит оказался далеко не последним. Ахмед киши, у которого возникли теплые чувства к доктору, часто навещал его, каждые два дня. Его замкнутость прошла. Собираясь к врачу, он радостно выходил из двухкомнатной «тюрьмы» на четвертом этаже, иногда даже пил чай в чайхане. Во время одной из бесед доктор сделал Ахмед киши странное предложение:

– Одиночество – это плохо, дядя Ахмед. Может, найдешь себе кого-нибудь?

Когда Ахмед услышал вопрос, в его глазах на миг загорелся свет. Однако яркость этого света была настолько мала, что ее мог просечь только умудренный жизнью человек.

– А как же Гулендам? Ведь я предаю память о ней, – беспомощно сказал он.

– Не думаю, что это предательство. И всё же решать вам.

Даже спустя неделю после этого предложения пациент не появлялся. Затем визиты возобновились. Однако в совершенно другой форме. Ахмед киши просто открывал дверь, здоровался и говорил: «Хотел узнать, пришли ли вы на работу, я рядом, пью чай в ближайшей чайхане». После этих слов он уходил. Однажды, когда всё это повторилось в очередной раз, доктор не позволил Ахмеду киши уйти:

– Дядя Ахмед, не мучайся, поднимаясь по лестнице. Если хочешь знать, на работе ли я, посмотри, припаркована ли моя машина перед больницей. Достаточно увидеть ее...

Ахмед киши снова пропал. А через десять дней появился с новым «шедевром».

– Доктор, где твоя машина? – тревожно спросил он, распахнув дверь. Врач вспомнил, что оставил автомобиль на «мойке» в ста метрах поодаль.

– Отдал помыть.

– Хорошо, до свидания! – пациент снова исчез. Доктору стало не по себе: «Тебя, дядя Ахмед, лекарствами не вылечишь!»

Прошло несколько месяцев. Врач услышал, что Ахмед ищет себе подругу. А тех, кто взялся за это дело, попросил, «чтобы ее желательно звали Гулендам»...

## **Фиалки, пахнувшие формалином**

Селиму снова снились кошмары. Он видел себя на последнем этаже высокого, но еще не достроенного здания из металлической конструкции. Его ровесница депутатка объясняла Селиму и однокурснику Мазахиру урок. Тема урока была об искусственном интеллекте. На железных плоскостях на столе разместили двух полулюдей. Их глаза выглядели очень грустными и гневными. Депутатка вдохновенно рассказывала о них и показывала. Иногда она, как мясник, отрезала от них кухонным ножом какой-нибудь кусок. Одетый в докторский халат с короткими рукавами Мазахир с сигаретой во рту равнодушно смотрел на нее. Селим упрекнул депутатку и сказал, что полулюди могут умереть. А та улыбнулась в ответ: «Дорогой, посмотри, скольких я уже прикончила. Глянь, они у перил...» Селим посмотрел. Возле перил росли странно пахнувшие фиалки. Посреди фиалок виднелись коричневые туфли, завернутые в окровавленную простыню...

Он проснулся весь в поту. «А Фрейд почему не явился?» Обычно в конце сна он хмурился и сердито говорил: «Этот сон я видел неправильно». Он попытался истолковать его. Перед сном он посмотрел фильм о нейрохирурге Серджо Канаверо. Тот хотел пришить человеку голову. Говорят, опыт на мышах ему удался. Но обезьяна, которой он пришил голову, умерла. «Причем тут депутатка? – ему пришлось немного пораскинуть мозгами. – Даа! Серджо – символ трудолюбия». Депутатка, которую он знал со студенчества, была такой же прилежной. Где бы та ни была, в какой бы сфере ни трудилась, добивалась успеха, даже ценой подхалимства. А как насчет искусственного интеллекта? Почему глаза у них выглядели такими грустными? Ни одно страдание не могло бы вызвать такое горе. Он понимал старания депутатки, но почему она их так безжалостно резала? Почему относилась к ним, как к подопытным животным? Ведь даже Серджо не проявлял такую жестокость к подопытным животным...

Он посмотрел на будильник. Он снова опередил его звонок. Вспомнил, что поставил будильник, потому что нужно было ехать в деревню. На душе стало теплее. Он увидит родные места, которые давно не видел, посетит свою любимую реку – кра-савицу Гобу...

Он не был в деревне уже несколько лет. После последней размолвки с отцом пообещал себе, что больше не поедет в деревню. А теперь был вынужден это сделать. Его младший брат был смертельно болен. Рак! Месяц назад сделали операцию, но опухоль появилась вновь. Как будто она бросила вызов медицине: «Не идите попереk Бога!» Врачи не согласились на повторную операцию и рекомендовали лучевую терапию. Ответы гистологических анализов в Баку и Москве совпали: «Шваннома!» Селим хорошо понимал, что это значит. Понимал, что это похоже на ожидание казни приговоренного к смерти. Вся разница заключалась в том, что родственники были рядом... В автобусе ему стало тяжело. Хотелось быстрее доехать.

Выйдя из автобуса в Дашузе, он молил небеса, чтобы никто из знакомых ему не встретился, и он дошел бы до дома пешком, отдавшись во власть грез. В Дашузе был неписанный закон. Если какой-нибудь водитель видел пешехода, непременно должен был его подвести, не важно, знаком был с ним или нет. К счастью, этого не произошло. Он дошел до Эйри. «Ну, здравствуй, старушка!» – поздоровался он. Не стал дожидаться ответа. Эйри отвечала величественным молчанием. «Как твоя сестра?» – задал первый вопрос, который пришел в голову. Спросил и посмотрел на запад. Гобу вдаль сливалась с Эйри – он продолжил путь, будто получил ответ на свой вопрос. До склона Туркоглу шел молча. Грунтовая дорога закончилась, начался зеленый луг. Заборы из веток лесного ореха, растущие у подножия кольев фиалки и первоцветы создавали чарующее настроение. Внезапно в небе загрохотало, а потом он почувствовал, как капли падают ему на лицо. Следом раздался звук открывающейся калитки:

– Доктор, родненький!

Узнал сразу. Это был Анвар.

– Это я, не узнал, что ли? Велиоглу Анвар.

Анвар говорил тихо и медленно, «как черепаха». Своим маленьким ростом, светлыми волосами и белой кожей он вовсе не походил на своих односельчан. Его морщинистая, загорелая кожа указывала на то, что состарился он не от тяжелого труда, а от жизненных тягот. Они расспросили друг друга о жите-е-бытье. Селим спросил, как идут дела в селе, как поживает сын Анвара Вали.

– Вали живет себе потихоньку. Я назвал его именем отца, вот и забочусь о нем, как об отце. То есть не забочусь вовсе, – не забыл тот отшутиться. Когда Анвар говорил, у него изо рта хлестала слюна. Боже, сколько слюны может быть у человека! Как будто к слюнным железам этого бедолаги провели провод из самой Ниагары. «Я скучаю по твоим цитатам, дядя Анвар», – Селим знал, что Анвар любит цитировать Толстого и Бальзака. Не успел додумать свою мысль, как Анвар вставил:

– В селе все по-прежнему. Как говорил Бальзак, оно похоже на вдову после смерти своего блатного мужа, – и уставился на Селима своими маленькими пронзительными глазами.

Селим уже чувствовал себя мокрым. Но Анвар выглядел счастливым. «Спасибо, дядя Анвар! Без тебя в этом селе было бы пресно. Ты и Ниагара, и Виктория этого края. Брызгай на меня, сколько хочешь». Видимо, Анвар тоже заметил «ниагару». Немного отступил и, будто только узнав о цели приезда Селима, спросил про брата, но, не дожидаясь ответа, сказал:

– Бедный, ведь такой молодой, чтоб болеть этой заразой. Разве можно, чтоб такой парень таял у нас на глазах? Мы с ним крепко дружили, – добавил он уже в прошедшем времени.

Анвар продолжал говорить, а мысли Селима унеслись в полное приключений прошлое Анвара. Это был тот самый Анвар, который нашел оригинальный способ воровать цыплят из колхоза. Он открывал кузов Газ-51, разбрасывал зерно, на которое сбегались куры, затем закрывал кузов и давал дёру. Это был тот самый Анвар, который ссыпал пшеницу в арык за гумном и велел своему сыну Вали собрать и высушить ее. Потом смеялся:

– Пусть привыкает к труду. Вот доля от вора вору.

У Анвара был свой путь. Он никогда не отклонялся от этого пути. Может, если бы Анвар хотел чего-то в открытую, ему бы дали. Однако Анвар этого не делал. После каждой кражи он бросался в сторону умников где-то подхваченным математическим выражением: «Я сокращаю числитель со знаменателем».

Уставившись на Селима хитрыми и слегка слезящимися глазами, он ждал ответа.

– Что поделать, дядя Анвар? Такова судьба. – Селим не нашел другого слова.

– Если люди проживут долго, они все рано или поздно умрут от рака. Но ему это совсем не к лицу. – Селим не понял, на что намекает Анвар. Всем было известно, что тот мастер загадывать загадки. Будь подходящее время и обстоятельства, Селим присел бы у подножия забора и с удовольствием слушал бы последние новости в мире и в деревне с комментариями Анвара. Но настрой был совершенно другой. Как будто исчезло все удовольствие, которое он получал от вида на деревню из Дашуза. Почувствовав это, Анвар просто сказал: «Ну, иди, глянь, как дела».

До дома оставалось недалеко. «Почему Мазахир проявил такое безразличие?» – не мог забыть свой сон Селим. Небольшой рост, красноватый цвет лица, маленький орлиный нос с выступающими капиллярами и гнусавый тембр речи сразу выделяли Мазахира среди других. Этот добрый, чуткий человек походил на «альбатроса» Бодлера. Обычно казался спокойным и терпеливым. Редко сердился. Однако, когда злился, даже самым эмоциональным коллегам приходилось отмалчиваться. «У него, наверное, еще не иссякло терпение...»

Переступив порог, Селим тут же ощутил атмосферу траура. В воздухе стоял странный запах. Он никогда не видел отца таким грустным. Глаза матери распухли от слез. Братья и невестки смотрели на него вопросительно. Знакомое зрелище. Так всегда на него смотрели родственники тяжелобольных. Он не очень расстроился. Брат лежал в постели. «Значит, пока не конец. Иначе ему постелили бы на полу», – первая мысль, которая пришла в голову. Брат смотрел на потолок потухшим взором. Лицо его пожелтело. Как будто он втянул в себя тусклый свет в этом доме. Его кости и сухожилия отчетливо просматривались из-за худобы. Он тяжело дышал. Настолько тяжело, что привлекал внимание: «Интересно... он всё еще дышит...» Селим вспомнил день, когда брат лежал в больнице месяц назад. Он ободрял его в палате и использовал все методы из своей практики. Неожиданно вошли одноклассники брата. Из памяти Селима никогда не сотрется радость на лице больного, возникшая в тот момент. Они говорили, смеялись. Как будто брат вовсе не болел.

Слова брата, сказанные прежде, чем попрощаться, перевернули всю душу Селима: «Если бы я мог хоть раз еще поиграть с вами в футбол во дворе, горя бы не знал». Тогда Селим не выдержал, вышел из палаты и еле дошел до ванной. Он все еще не мог вспомнить, как тогда рыдал. Помнил только то, что выплакал всю душу. В тот день брат для него умер, и этот странный сегодняшний запах Селим ощутил еще в то далекое время.

Теперь он был немного спокоен. Ну сколько раз умирать брату?.. Казалось, его безразличие передалось и домочадцам. Отец и мать расспрашивали его о жизни и делах, будто только сейчас заметили. Жены братьев стали готовить еду. О больном будто и вовсе забыли. После ужина стали рассказывать воспоминания, истории о проделках Селима и братьев, а невестки заливались смехом. Больной находился в своем собственном мире. Вдруг мать с тревогой сказала одной из невесток:

– Ой, быстро включи телевизор, сериал пропустим.

Внезапно комнату наполнил тот же странный запах. «Господи, что это за запах? Я что, с ума схожу?» Селим под каким-то предлогом вышел во двор. Старая сирень, в тени которой они всегда сидели, в сумерках казалась загадочным чудовищем. Он сел под сиренью, на скамье. Не смог заплакать, хотя в глазах стояли слезы. Перед глазами предстали киборги, которых он видел в своем ночном кошмаре. «Остаются еще перила и обувь», – подумал он. Он затруднялся в толковании.

Он до изнеможения бродил по Авингуда Диагональ и близлежащим улицам. Смотрел на уникально красивые перила уникально красивых зданий. На самом деле перила были предлогом. Фактически он смотрел в окна. Думал, что вдруг сможет увидеть за каким-нибудь окном своего кумира старого Габо, адреса которого не знал. Он устал, но никого не увидел. Винил в том не опухшие ноги, а обувь. Первое, что там купил, были туфли. Модные в то время коричневые туфли от Армани. Наверное, Габо держал в каждой своей квартире в разных городах, где время от времени жил, по паре туфель, чтобы найти то, что искал. Наверное, в каждом месте есть что искать особенного...

Селим долго сидел под сиренью. Когда вернулся домой, «вонючий» сериал еще продолжался. Он извинился, сказал, что пришел после ночной смены и должен выспаться. Пошел в спальню. Лег на кровать и устался на балки на потолке. Потолок напоминал плавательный бассейн. В студенческие годы, они использовали «живые» трупы, когда проходили миологический раздел анатомии. Студентов-отличников после лекций оставляли на свеживание трупов. Двое-трое студентов должны были аккуратно снять с трупа кожу. Да еще так, чтобы не пострадали мышцы. Селим впервые увидел эти тела в бассейне в подвале анатомического отделения. Темный подвал, бассейн с маленькими зелеными огоньками на стенах, резиновые сапоги до таза, трупы с устрашающим взглядом и растрепанными волосами и странный запах. Если бы в тот день позволила гордость, он немедленно бросил бы носилки и убежал. Сбежал и больше не вернулся бы в университет. В тот день в подвале время будто замерло. Не говоря ни слова, они положили трупы на носилки, как роботов, и принесли на кафедру. Содрали с них кожу, а потом слышали благодарность. Этот запах всю жизнь преследовал Селима. Иногда еле слышался, иногда шибал в нос, но никогда не оставлял Селима в покое.

Его глаза были закрыты. Гипнос и Морфей медленно брали Селима в окружение... Он возвращался. Небо было черным-пречерным. Оно походило на матерей, не могущих разродиться и впавших в эклампсию. Накапывало. К этому дождю добавился печальный плач. Брат прощально махал Селиму из бассейна. Повсюду росли странно пахнущие фиалки в человеческий рост. «Это запах формалина. Формалин в бассейне, где хранятся трупы», – таинственно перешептывались фиалки, пытаясь оплести Селима. «Ах, проклятый сколиоз!» – крикнул Селим, пытаясь убежать от них. Вдалеке слышался свист поезда.

– Это мой поезд, – брат обратил мечтательные глаза на Селима, – Твоего еще долго ждать... – из окна вагона выглядывал Фрейд и улыбался...

На следующее утро Селим узнает, что, пока он спал, брат умер. Отец не дал разбудить его: «Он устал, со смены, после долгого пути. Мы всё равно ждали...»

Много позже Селим узнает, что Анвар также внезапно скончался в тот день. В тот же день ему вместе с пахнущими формалином фиалками приснился Анвар. Анвар снился ему, чтобы сказать:

– Доктор, родненький!..

## **Тар**

*Изыян притупляет воспоминания...*

Утром Вейсель не мог проснуться. Ему казалось, что голова у него размером с казан, и что их сосед кузнец Зейнал стучит молотком по этому казану. После каждого сильного удара тот же самый Зейнал киши давал ему наставления:

– Сынок, меньше пить надо этой отравы! Ты весь провонял! Твой батя – хороший мужик. Возьмись за дело!

У Вейселя не было сил ответить. Он мучился до самого вечера. А эта гадость от него не отставала. «С вами далеко не пойдешь, за дело не возьмешься. За что бы я ни взялся, придираетесь, вам не угодишь, – пробурчал он в сердцах, – жалеешь потом, что вообще взялся».

У Зейнала «недостатков» не имелось. С утра до вечера он потел в кузнице. Любил давать наставления. Казалось, что его «совершенство» проистекает из этой любви. Он кружил вокруг да около и пересекался с теми, у кого имелись «недостатки». Говорят, что увещевание среди свидетелей – это упрек. По мысли Вейселя, даже с глазу на глаз наставления ничего не стоили.

Он медленно пошел к туалету в глубине двора. На двери висел большой замок. Повесил отец. Каждый раз, когда Вейсель «бухал» водку, утром на двери туалета появлялся замок. «Сукин сын, после тебя этот туалет целые сутки надо проветривать», – оправдывался отец. Вейсель растерянно начал поглаживать атерому на голове. Выглядывающая среди редких волос атерому на его макушке с каждым днем становилась всё больше. Не прошло и месяца с тех пор, как он вырезал старую. Проклятая, будто только этого и ждала. Она с необъяснимым аппетитом всасывала в себя всё, что Вейсель ел и пил, и за месяц стала в размерах, как прежняя.

«Мать снова начнет, мол, твой отец куда-то дел ключ. Еще и ее целый час придется упрашивать. У меня тем временем кишки лопнут, – он пошел обратно, к дому, – не двор, а стадион. Пока дойдешь до дома, снова схватит живот. Надо построить себе новый туалет возле дома, – засмеялся он этой мысли, – когда беру в руки лопату, они делают сотню замечаний, фиг разрешат мне что-нибудь построить».

В другой части сада стоял дом, к одной стене которого примыкал курятник. В нем обитали три-четыре наседки и два петуха. Большой петух, склонив голову, чистил свои огромные шпоры. Во время возлияний со своими собутельниками Вейсель неоднократно обещал зажарить для них этого петуха. Но в последний момент у него почему-то не поднималась рука его зарезать. Маленький хорохорящийся петух бился о железную сетку курятника. «Чудные люди, на месте туалета построили курятник, а на месте курятника – туалет. Вот и вся нескладность, – продолжал ворчать Вейсель, поглаживая одной рукой живот, а другой атерому. – А ты не хорохорься! – прикрикнул он на молодого петуха. – Не то всю злость на тебе вымещу». Он поднялся по ступенькам, собираясь перепрыгнуть через дверь. Но прежде чем успел дотянуться до задвижки, изнутри показалась почерневшая от чистки орехов рука, в ладони которой был зажат ключ:

– Держи! Чтоб вам обоим провалиться! Оба упертые. Я была вынуждена купить такой же замок. Когда ты напиваешься, рано утром я сама запираю туалет. Знаю, что, если отец запрет его, возьмет ключ с собой. Тогда я и сама останусь без туалета.

Холодное прикосновение ключа, потемневшие руки матери унесли его в прошлое. Его дедушка был старой закалки человеком. Степенный, уважаемый и трудолюбивый. Комбайнер колхоза. Когда начинался сбор урожая ячменя и пшеницы, он садился за руль и отдыхал лишь в конце сезона. Для Вейселя было целым представлением, как дед, придя вечером домой, умывался, брился машинкой «Победа». Для Вейселя оставалось непонятно, кому адресовались слова деда: «Где борода, там микробы стыда». Посреди комнаты с балками на потолке расстилали белоснежную скатерть на полу. Дед выпивал целый самовар чая, опираясь на гигантскую мутекке с золотистыми кисточками. А четверем еще неженатым сыновьям и внуку-первенцу Вейселю, сидевшим вокруг расстеленной скатерти, бабушка наливала чай из чайника.

– Вы еще не имеете права пить самоварный чай! Чтобы пить самоварный чай, нужно иметь такой же большой характер! – полусерьезно-полушутливо говорил дед. После чая подавалась еда. Сначала деду, потом дядьям и, наконец, малышу Вейселю. Когда и где ела бабушка, оставалось загадкой. После ужина дедушка, опершись на мутекке, смотрел по телевизору «Вечер мугама». Настроение каждого куплета, каждой интонации мугама, распеваемого в этой получасовой программе, запечатлевалось на его лице. И «камертонным» движением головы он передавал свое настроение сыновьям и внуку. В то время Вейсель ничего не смыслил в мугаме. Однако после «мимического» перевода деда у него во рту менялся вкус, а нос чуял аромат. Возможно, именно дедовская любовь к мугаму послужила причиной тому, что Вейсель в музыкальной школе поступил в класс тара. Дедушка не уставал трижды в неделю, пачкаясь в пыли и грязи, водить Вейселя в город, в музыкальную школу. А Вейсель уставал. Когда он чувствовал усталость, дед подбадривал его:

– Вот увидишь, ты сможешь лучше них. Тогда я не буду смотреть «Вечер мугама», я буду слушать тебя, умница!

Прошло пять или шесть месяцев. После «Вечера мугама» дед выключил телевизор, выпрямил свою мутекке с золотистыми кисточками и заявил:

– А теперь послушаем свой мугам! – он кивнул жене. Бабушка вручила Вейселю вырезанный из тутового дерева, покрытый темным лаком и отделанный жемчужными краями тар. Тар был красив. Он сильно отличался от «детского» тара, который Вейсель использовал на уроках. С первого взгляда было ясно, что у этого тара тоже есть дедушка, бабушка и дядья. Вдобавок, казалось, что дед этого тара опирается на мутекке с золотистыми кисточками, что время и место приема пищи его бабушкой остается загадкой, и что его дяди стоят перед отцом навывтяжку...

Он взял в руки тар с радостью, удивлением и изумлением. Как будто ему в руку вложили уголья. Он вынул плектр из гнезда. Настроил тар. Не обращая внимания на любопытные и улыбающиеся глаза дядьев, начал играть своими маленькими тонкими пальчиками первый выученный мугам – «Баяты-шираз». Ушел в музыку, не слыша и не ощущая ничего постороннего. Все, что доносилось до слуха, – ободрительные междометия деда, сопровождающиеся «камертонными» кивками головы. Даже тридцать лет спустя эти междометия в трудные минуты всегда превращались в «Сегях», «Чаргарях» и воодушевляли Вейселя. Даже когда дед внезапно умер, эти междометия не дали ему заплакать...

Теперь Вейсель потерял эти тридцать лет. Нет, не потерял, а сгноил. С каждым днем чуточку больше. Как сушка свежего влажного навоза. Поворачивая с одной стороны на другую, подставляя солнцу и ветру.

Разве так длинна жизнь? Что от нее останется, если каждый отщипнет чуточку: председатель муниципалитета, председатель сельской администрации, деревенские старейшины, гадалка, знахарка, директор школы, отец, мать... Ничего не останется!

Одни шрамы. Келоидные рубцы, кровоточащие рубцы, гноящиеся рубцы, незаживающие рубцы... Вот и живи теперь с ними! Посмотрим, сможешь ли?! Кому нужны однообразные дни и банальная жизнь среди этих рубцов?

Теперь Вейсель думал о мугаме иначе. Он думал, что мугам – музыка затуманенных мозгов. Он не по вкусу, когда ты трезв. Чтобы понять его, надо сбежать из этого мира. Сын человеческий должен уметь сбежать из этого мира. Это не требует много энергии. Достаточно иметь бабушку и деда. Достаточно быть сыном человеческим.

Маленький петух вел себя, как пьяный. Судя по всему, Вейсель вылил недопитую водку в резонатор тара, который использовали вместо миски в курятнике. В изготовленный из тутового дерева, покрытый орехового цвета лаком и инкрустированный жемчугом резонатор тара. Вейсель обратил свой холодный затуманенный взгляд на старого петуха, которого всегда хотел зарезать и съесть:

– Я обещаю, деда! У меня больше не будет болеть живот...

## **Эйри**

Меня зовут Селим. Я родился в деревне. В красивой деревне. Мне нужно немного описать эту деревню. Иначе мои слова выйдут пресными. Значит, так: горный склон, одинокое шоссе у подножия склона, грунтовая дорога перпендикулярно этой дороге (так выйдет более точная картина). Примерно через километр эта дорога упирается в русло реки. Река глубокая. Место, где дорога подходила к руслу реки, с превеликим трудом разрыли, расширили, выровняли и вывели на берег. Затем построили мост, соединяющий два берега. Река называется Эйри. Это, наверное, самая романтическая река в мире. Как видно из названия, она и вправду кривая. Она петляет вокруг деревни, как змея. Иногда топаешь километра два вдоль реки и вдруг спохватываешься: оказывается, ушел всего-то на двадцать метров от прежнего места. Берега поросли кустарником. Настоящий рай для кроликов, фазанов, барсуков. Вода илистая, но сладкая-пресладкая. Летом, купаясь в этой мутной илистой воде, весь становишься белым, будто только вышел из мельницы. В летнюю жару вода убывает, но никогда не пересыхает. Когда лежишь на песчаном берегу, опустив ноги в воду, нависает такое блаженство, будто весь мир твой. Как сказано у поэта Годжа Халида:

*Тому, кто витает в облаках,  
Светлые мысли приходят на ум...*

Иногда находились те, кто нарушал это блаженство. Дети, купающиеся в реке, пуляли песочными комьями в грузовики с песком. Вопли, ругань и проклятия сливались в сплошной ор. Эйри не оставалась в стороне от этой свистопляски, начинала бурлить сильнее.

У Эйри был еще приток. Его называли Гобу. Он протекал прямо посередине села. Река была не такой большой, как сестра, но походкой и осанкой они были схожи, как две капли воды. С прозрачной и сладкой водой. Иногда она проявляла гнев, но обычно имела мягкий нрав. А холмистые и равнинные берега красивы до нельзы. Сестры обнимали всю деревню, пока не сливались друг с другом. Прямо как великаны из сказок, охраняющие деревню.

На невысоком холме возле Гобу находится деревенское кладбище. Очень древнее, такое же древнее, как сама деревня. Часть кладбища возле Гобу – святыня, место паломничества. Давно забыто, кто там похоронен. Там больше никого не хоронят. Покойников хоронят на новом кладбище рядом с ним. А те, кому еще предстоят похороны, сначала посещают старые могилы на севере, а потом новые на юге, чуть выше.



Даже не знаю, зачем я завел этот разговор. Да, я начал с того, что родился и вырос в деревне. Как я могу не любить деревню? К сожалению, в деревне нет университета. Я был вынужден учиться в столице. Вот почему я там и работал. И каждый раз, выходя уставшим с работы и садясь в битком набитый пахнущий сараем вагон метро или в такси со словоохотливыми шоферами, я мечтал об одном: вот бы сказать, чтоб поехал на берег Эйри, умыться бы ее спокойной теплой водой, а потом полежать на песчаном берегу...

Я вроде опять перепутал. Эйри, Гобу, кладбище... Да, да! Все вспомнил. Однажды затосковав по Эйри, по Гобу, я кое-как отпросился с работы и приехал в деревню. После короткого приветствия ноги сами привели меня прямо на кладбище. Проведав могилы родственников, я заметил ветхое надгробие. На кривом маленьком речном камне, водружённом взамен надгробия, черным фломастером было выведено МАСТЫХ. Ни фамилии, ни даты рождения и смерти. Я вспомнил давний день, когда какое-то время назад приехал в деревню вечерним поездом. Потому что тот день невозможно не вспомнить. Хочу и вам об этом рассказать.

Я добрался до деревни в утренних сумерках. Всю деревню охватил чей-то вой. Нет, это не был ни волк, ни собака. Сказали, что это воет Мастых. У нее снова начались боли в груди. Уже долгое время вой Мастых заменял сельчанам утренний призыв на молитву. Как будто все ждали этого ужасного воя, словно звук трубы архангела Гавриила. Когда она начинала выть, соседи закрывали двери и окна, а те, кто спал, засовывали голову под подушку. Дело дошло до того, что детей, которые не ели и вели себя непослушно, начали запугивать Мастых. Пропало всё очарование деревни. Я понял, что боль – первейший изъян, унижающий человеческое достоинство. Человек может умереть от боли. Но выть? Нет! Здесь имелась какая-то другая мудрость...

Мне вспомнилось обращение невежественной и темной Мастых, у которой вдобавок было плохое воспитание:

– Я ведь умираю, совсем умираю! – игнорируя стоящих в очереди пациентов, она распахнула дверь и ворвалась внутрь, как будто знала меня добрую сотню лет. А мне, в свою очередь, пришлось проявить безразличие к такому поведению.

– Что случилось, тетя Махруза? – Все звали ее Мастых, но настоящее ее имя, похоже, было таким.

– Гляди! – она беззастенчиво приподняла поношенный грязный жакет и показала покрасневшую и опухшую грудь, сочащуюся гноем. Как будто я был виноват в этом.

– Поправится! – с той же решимостью ответил я. «Куда ей поправляться, горемычной! Рак в последней стадии не лечится», подумал я. – Где ж ты всё это время пропадала? Почему не пришла вовремя, тетя Махруза?

– Некому меня привести, сынок, – властная и буйная женщина внезапно приняла несчастный облик. – У меня один-единственный сын. Чтоб ему провалиться!

Тут Мастых начала сыпать проклятия. Господи!!! Что за проклятия??? Она прокляла все. Прокляла солнце, луну, звезды. Прокляла горы, долины, реки и озера. Прокляла судей, прокуроров, начальников. Прокляла плохих людей, нечестивцев, плохих соседей, хороших соседей. Прокляла женщин, мужчин, молодых и старых. Прокляла предателей, негодяев, ублюдков. Прокляла винтовки, пистолеты, ножи. Она также прокляла длинные винтовки, короткие винтовки, длинные ножи, короткие ножи, раскладные и нераскладные ножи, старые-новые ножи, ржавые и нержавеющие ножи. В этих проклятиях света и искренности было с целый мир. Эти проклятия каплями стекали мне в сердце. Текли и приносили с собой прохладу и опьянение. И вправду, что за чудо? Искренние славословия попадают редко. Но проклятия всегда искренние, всегда чистые, как хрусталь.

– Бедолага угодила в тюрьму в самое неподходящее время, – закончила наконец свой монолог Мастых.

Муж Мастых никуда не годился. Он слонялся с утра до вечера, нес какую-то чепуху и ни за какую работу не брался. Даже если бы и взялся, то непременно провалил бы. Дни напролет он бродил по всей деревне – без какой-либо причины, бессмысленно. В одном доме его поили чаем, в другом кормили едой. На самом деле хозяин пытался отделаться одним чаем. Но, видя, что Алескер не уходит, был вынужден поставить перед ним еду. Когда он ел и пил, постоянно говорил о Мастых. К тому же омерзительные подробности – Мастых не готовит, Мастых не заваривает чай и так далее, и тому подобное. Как река Эйри, он юлил и кривлялся. Он умер так же, как жил – без уважения, позорно. Ведь молитвы за упокой – не подарок, этому нужно посвятить всю свою жизнь.

Мастых кое-как поставила на ноги сына. Мальчик рос, как кот у Киплинга – раскованно, свободно. Целыми днями ловил рыбу в Гобу (почему-то дел с Эйри не имел), там ее готовил и запивал водкой, а потом задирали кого ни попадя. Он делал все, что взбрело в голову, деревенские упрекали его, но домашние ни слова не говорили. Мастых целый день бегала в поисках куска хлеба, откуда у нее могли взяться на это силы и терпение?

В тот день я написал «рецепт» для Мастых и сам купил для нее обезболивающие уколы. Обычные обезболивающие тут не годились. Я выбрал анестетики и дал медсестре особые инструкции. Как говорится, от проклятий человек расцветает, а от похвалы мрачнеет.

С начала «лечения» прошло двадцать дней. Как только Мастых начинала выть, тут же появлялась медсестра со шприцем. Соседи спали спокойно. Дети так же спокойно продолжали шалить. Я услышал в свой адрес похвалу и милость в адрес своих усопших, но начал видеть кошмары. Каждую ночь ко мне приходило странное существо в тюремной робе со шприцем в руке.

– А теперь я сделаю тебе анестезию! Почему ты не позволяешь ей страдать так, как мы для нее предназначали? – говорило существо.

– Кто вы? Ведь у нее рак! Я облегчаю ее боль, – я согласился бы и на ампутацию, чтобы оправдать себя.

– Дело не в раке! Не всякий больной раком воет, – странное существо избегало главного вопроса.

– В чем тогда проблема? – вопрос оставался без ответа, и существо исчезало.

Не прошло и месяца, как умерла Мастых. В одиночестве. Продолжая выть. Ее сын «развлекался» в тюрьме. Наверное, этот вой был рожден сожалением о том, что она не смогла дать своему единственному сыну надлежащее воспитание. В тот день мне снова приснилось странное создание. На сей раз на нем не было тюремной робы и шприца в руках...

Я немало простоял перед одинокой могилой с кривым надгробием. Гобу, извиваясь, протекала по одну сторону могилы. Мне показалось, что вода не течет, а напекает колыбельную для Мастых. Вечную колыбельную...

*Вугар Эмрах родился в 1970 году в Шеки. Окончил Медицинский университет. По специальности он терапевт. Кандидат медицинских наук. В настоящее время работает врачом в Шеки. Выступает со своими произведениями в местной периодике. Прозу Вугара Эмраха можно смело отнести к литературе, выходящей из-под пера писателей-врачей – Рабле, Чехова, Селина. Как у Рабле, в этой прозе есть смешное в широком диапазоне; как у Чехова, особенно позднего, «нулевой стиль», когда автор минимально обнаруживает собственное присутствие в тексте; как у Селина, свидетельство очевидца, распрощавшегося со многими, если не всеми иллюзиями. Фрагменты «голой правды». Отрезвляет и бодрит.*